

**Общественные идеалы современного
человечества. Либерализм. Социализм.
Анархизм**

Алексей Алексеевич Боровой

1906

Оглавление

Либерализм	3
Социализм	9
Анархизм	16

Либерализм

С того момента, как человек, по гениальному выражению Аристотеля, стал п-общественным животным, в жизнь его вторглось могучее противоречие, долгие столетия терзавшее умы и сердца лучших людей и ставшее, наконец, истинной трагедией человеческого духа. Это мучительное противоречие есть противоречие между личностью и обществом. Что святее, что выше, что драгоценнее: интересы личности или интересы общества — вот вопросы, мрачным фатумом встававшие на всем протяжении человеческой истории. Конечно, каждая эпоха, каждый общественный строй налагали свою неизгладимую печать на человеческое мирозерцание. Отсюда их бесконечное разнообразие.

Между фигурой какого-нибудь средневекового фанатика-сектанта, смертью готового запечатлеть верность своим религиозным идеалам, и современным ницшеанцем или адептом анархистской доктрины едва ли можно отыскать большое сходство.

Точно так же мало похожи друг на друга какой-нибудь якобинец в стиле Марата, не останавливающийся перед требованием сотни тысяч голов ради отвлеченной формулы «общего блага», и современный теоретик социалистического государства. Но есть и нечто общее между этими историческими фигурами, разлученными долгими годами борьбы, насилий, страданий...

Одни и в далекое время от нас и сейчас отдавали себя на служение идее прав личности; высшим этическим законом провозглашали принцип свободы; в их глазах личность с ее оригинальными целями, стремлениями, интересами стояла выше общества. Они предпочитали говорить более о правах личности, чем об ее обязанностях.

Другие, наоборот, видели и видят в личности лишь средство; целью для них является общество; в их глазах этический принцип равенства, братства, солидарности совершенно заслоняет принцип свободы; даже в тех случаях, когда они сами признают, что общественный прогресс невозможен без соответствующего расширения индивидуальных прав, они все же не задумываются пожертвовать личностью ради всепоглощающего Молоха, называемого обществом.

Так пробились в жизни два могучих течения: индивидуалистическое и социалистическое.

Краткому обзору их исторических судеб за последнее столетие и будет посвящена первая половина моей лекции.

Необычайный расцвет индивидуалистической мысли открывается Великой Французской революцией.

Из всех мировых исторических драм, когда-либо пережитых человечеством, несомненно, наиболее грандиозной является эта великая революция XVIII века. Ни одна другая эпоха не отразила с такой силой и яркостью страстных исканий человеком общественных идеалов. Пусть новейшие исследования показали, что не все слова, брошенные миру революцией, были новы, пусть вся предыдущая история по зернам собирала тот драгоценный материал, который мы привыкли считать ее достоянием.

Революция была и останется апостолом, впервые поведавшим миру новую правду, она дорога нам тем, что, не удовлетворяя запросов современного, далеко ушедшего

от нее человека, она сумела затронуть такие общечеловеческие струны, которым суждено бессмертие.

Многочисленные исторические документы сохранили нам свидетельства того необычайного энтузиазма, который охватил всю Европу при вести о взятии Бастилии.

Перед силою этого энтузиазма бледнеют и тускнеют наши поздние радости от успехов великой русской революции. Падение Бастилии праздновало все мыслившее и все страдавшее человечество. Старик Гумбольдт произнес слова молитвы «ныне отпускаеши», а юный Гегель в зеленеющем поле посадил дерево свободы. Даже холодный Петербург, Петербург Екатерины II, делил энтузиазм Европы. Знаменитый Сегюр писал в своих мемуарах: «Новость о взятии Бастилии быстро распространилась в Петербурге... и хотя Бастилия не грозила никому из его жителей, я не могу передать энтузиазма, вызванного среди негоциантов, купцов, мещан и нескольких молодых людей из более высокого класса падением этой государственной тюрьмы, этим триумфом свободы. Французы, русские, датчане, немцы, англичане, голландцы — все, посреди улицы поздравляли друг друга, обнимались, точно их избавили от тяжелой цепи, сковывавшей их самих. Это увлечение, которому я сам едва верю теперь, рассказывая это, продолжалось очень недолго. Страх скоро погасил первую вспышку. Петербург не был ареной, на которой можно было безопасно обнаруживать подобные чувства».

Эти восторги, эта всеобщая радость кажутся понятными и близкими нам и теперь. Среди официально признанного бессилия старого порядка впервые зазвучала воля нового народившегося суверена — народа; за феодальными обломками мерещилось уже широкое, открытое, необозримое поле социально-политического творчества народа. Рухнул бюрократический режим со всеми его неправдами и насилиями; все верили и мечтали, что народы вступят, наконец, в обетованную землю свободы.

От этой замечательной эпохи остался один из величайших памятников человеческой мысли и чувства, который не мог быть изготовлен отдельными человеческими руками, — декларация прав человека и гражданина.

Этот памятник воздвигнут на пьедестале всего освободительного движения XVIII века; в его создании участвовали незримо ум, воля и чувства всего французского народа. В нем отразилось все то, что волновало Францию в ее бессмертных наказах 89 года. Декларация прав была политическим принципом революции, ее политической программой...

Ничто, разумеется, менее не походит на положительное законодательство этого торжественного возвещения ряда универсальных истин, казавшихся в эту эпоху всеобщего энтузиазма такими ясными и простыми. В последнее время, между прочим, возгорелась чрезвычайно любопытная полемика между рядом французских ученых, особенно Бутми, и крупнейшим из государственников — немецким профессором Иеллинеком по вопросу о происхождении декларации. В брошюре, наделавшей много шума, Иеллинек доказывает, что в основе декларации лежит не просветительное движение конца XVIII века, а декларация отдельных американских штатов, начиная с Виргинии в 1776 г. Французская декларация, по мнению Иеллинека, является лишь отзвуком тех глубоких, серьезных, продуманных положений, которые образуют ос-

нову ее американских предшественниц. Но, если это и верно, декларация ничего не теряет от этого.

Декларация велика не тем, что первая возвестила человечеству освободительные принципы, но тем, что практические, трезвые, жизненные формулы американцев обратила со свойственными французскому народу темпераментом и блеском в великие моральные истины, общечеловеческие, общеобязательные. Местные хартии, местные вольности были обращены в катехизис, из которого строящее человечество черпало и долго будет черпать вечно юные, незыблемые принципы благоустроенного общежития. Пусть английские билли и американские декларации имеют хронологические преимущества; французская декларация остается апостольской проповедью.

Таково было замечательное наследие эпохи 89 года, — эпохи, в которую, по словам Токвиля, «равенство и свобода были одинаково дороги сердцу французов; когда французы хотели создать не только демократические, но и свободные учреждения, не только разрушить привилегии, но признать и санкционировать права; время молодости, энтузиазма, гордости, великодушных и искренних страстей, — время, память о котором, несмотря на все его ошибки, люди сохраняют навсегда».

Понимая радости, волновавшие современников великой революции, мы можем, однако, и бесстрастно оглянуться назад в далекое от нас прошлое и отделить истинное в этих радостях от ложного за ярким фейерверком нередко искренних настроений, излиятий и слов таились грубые, прозаические расчеты, учитывались торгашеские интересы.

Революцию делала буржуазия во имя своих буржуазных интересов, буржуазия, задыхавшаяся под гнетом феодальных перегородок, феодальной опеки, желавшая вздохнуть, наконец, полной грудью и заменить классическую формулу королевской милости «*plaisir du roi*» правом, вписанным в закон.

Но под знаменем революции боролся весь народ, и на его долю остались лишь жалкие крохи блестящих завоеваний буржуазии. Наряду с прочими священными, естественными правами человека декларация сохранила и священный институт права собственности, о который должны были разбиться все демократические вождения.

То была эпоха буржуазного либерализма.

Но эпоха 89 года со всем ее угаром и волнениями проходила, и перед французами грозно встал сложный вопрос о консолидации революции, о закреплении тех начал, которые она завещала.

Франция разбилась на два враждебных лагеря: с одной стороны стояли жирондисты, буржуазные либералы, отстаивавшие принцип федерализма, полагавшие, что предоставление возможно большей доли свободы отдельным самоуправляющимся единицам есть единственный способ ликвидации старого порядка и осуществления великих принципов революции в жизни. Другие — якобинцы, демократы, принципу федерализма противопоставляли принцип централизации, доказывая, что только сильная государственная власть в состоянии справиться с центробежными элементами, раздиравшими Францию. Их мало соблазнял лозунг буржуазной свободы, написанный на знамени жирондистов. Воспитанные на доктрине Руссо они дорожили более равенством, чем свободой.

В величайшем из всех политических творений «общественном договоре» Руссо поставил следующую центральную проблему: каким образом организовать общежитие, чтобы «каждый, соединившись со всеми, повиновался бы только самому себе и оставался свободен, как прежде?» Таким образом целью договорной ассоциации, по мысли Руссо, должно было быть обеспечение свободы каждому из ее членов. Эта цель, как думал Руссо, может быть достигнута только таким образом: каждый член ассоциации со всеми его правами должен быть отчужден в пользу общины; но, отдавая себя целиком, каждый отдает себя на равных условиях с другими, и таким образом никто не может быть заинтересован, чтобы эти условия были отягчительны для других. В то же самое время каждый, отдаваясь всем, не отдается никому.

Это рассуждение заключает в себе, очевидно, величайшую логическую ошибку. В самом деле, цель договора ассоциации заключалась в обеспечении свободы. Между тем ассоциация предоставляет своим членам только равенство, подчиняя их целому, и таким образом отрицает за ними свободу.

Это учение, отразившее в себе дух античного государства, было политическим символом якобинизма, воздвигшего на месте абсолютного самодержавия монарха абсолютное самодержавие народа. Было бы, конечно, великим заблуждением видеть в Руссо социалиста. Его воображаемый социализм, справедливо говорит Анри Мишель, был ничем иным, как первоначальной, очень несовершенной и очень опасной формой индивидуализма.

И когда монтаньяры победили жирондистов, принципы якобинизма восторжествовали и беспощадное отныне ко всем противникам правительство открыло политику террора.

Ростки свободы, пущенные эпохой 89 года, были вырваны с корнем!

Произвол короля сменился произволом Конвента, произволом Комитета Общественного Спасения, произволом комиссаров, произволом целой армии маленьких чиновников этого чудовищно-централизованного механизма. Единственной инстанцией была признана гильотина, и в жертву формуле общего блага были принесены все права личности.

Нет того гнусного произвола, нет того тяжкого угнетения, которое бы не покрывалось широкой эластичной формулой общего блага. Под этим лозунгом самые разнообразные режимы — реакционные и революционные — проводили исключительные меры, чрезвычайные и военные суды и комиссии, административные ссылки, изгнания.

Формула общего блага, как правительственная или политическая формула, не есть защита общества, а есть грубое, одностороннее попрание права слабой части более сильной. Не может быть и речи о каком бы то ни было пожертвовании общественными интересами при отрицании этой формулы. Там нет общества, где речь идет о мерах, узаконивающих наличность двух неравных групп: угнетателей и угнетаемых.

Так, под ударами якобинского террора, погибла идея свободы!

Многочисленные историки пытаются оправдать террористическую политику Конвента, находя в ней единственный способ обеспечить единство Франции; эта политика, по их мнению, столько же обуславливалась исключительными внешними осложнениями, сколько и борьбой с тем пестрым материалом, который по мысли

вдохновителей террора должна была переварить революция. Быть может, с этой точки зрения политика Конвента и неузвима, но ни Комитет Общественного Спасения, ни революционные трибуналы, ни комиссары Конвента, наделенные неограниченными полномочиями, не могут не быть признаны самым ярким и категорическим отрицанием индивидуалистической доктрины, поскольку она выразилась в декларации и вообще деятельности Конституанты.

Но в то же самое время политика Конвента, его террор встретили самое жестокое осуждение в социалистической среде. Ведь террор никогда не служил интересам пролетариата, наоборот, по словам одного социалистического писателя, «террор революционной буржуазии, террор, одним из наиболее ярких представителей которого является тщеславный лицемер Робеспьер, был отвратителен тогдашним французским рабочим, он должен быть отвратителен и всякому современному сознательному и трудящемуся пролетарию».

Когда, — пишет социал-демократический историк французской революции Блосс, — в трудную для Робеспьера минуту его агенты пришли в рабочее предместье сзывать рабочих на помощь этому человеку добродетели, они услышали озлобленный ответ: "Мы умираем от голода, а вы хотите кормить нас казнями". "Нам нечего страшиться, — говорил известный социалист Лафарг в своем диспуте с Демолоном, — возврата тех кровавых сатурналий, которыми опозорила себя буржуазная революция. Пролетарии не так кровожадны, как буржуазия".

Политическое миросозерцание этой эпохи в отличие от предыдущей эпохи буржуазного либерализма может быть названо демократическим либерализмом.

Эта система, так же, как и наследовавший ей деспотический наполеоновский режим, обративший личную свободу в игрушку центральной власти, подготовила новый взрыв индивидуалистической идеи, который завершился выработкой нового цельного, либерального миросозерцания. Эта либеральная доктрина, окончательно сформулированная к двадцатым годам XIX столетия, критически отнеслась к идее народовластия, вдохновлявшей предыдущую эпоху, и раз навсегда обратилась в идеологию буржуазных классов. Самым ярким представителем индивидуалистической идеи этого времени, несомненно, был талантливый публицист и политический деятель Бенжамен Констан, к краткой характеристике взглядов которого мы сейчас и переходим.

«Целые сорок лет, — писал Констан в одном из своих произведений, — я защищал одно и то же: свободу, свободу во всем, — в религии, в философии, в литературе, в промышленности, в политике».

Неудивительно, что Бенжамен Констан пользовался самой широкой популярностью в оппозиционных кругах современной ему Франции. Его «курс конституционной политики» обращается постепенно в катехизис либерализма, — «учебник свободы» (*Manuel de la liberte*), по меткому выражению одного из выдающихся французских государственных деятелей — Лабулэ.

Но что Бенжамен Констан понимал под свободой?

«Свобода, — писал он, — есть триумф личности над властью, желающей управлять деспотическими средствами, и над массами, требующими подчинения меньшинства большинству».

Констан не возражал против самой идеи правительства; он требовал только возможно большего ограничения его функций. Правительственная деятельность, по его мнению, должна протекать в рамках только тех услуг, которые она в состоянии оказать.

Во всех своих взглядах на свободу, он был прямым антагонистом Руссо, жестоко осуждая верховенство общей воли над всякой частной волей. Границы власти должны быть указаны справедливостью и правами отдельных лиц. Никогда и воля целого народа не может сделать справедливое из несправедливого.

Доктрина Руссо об отчуждении личностью своих прав в пользу общины есть, по мнению Констана, доктрина деспотизма. Личность не может отчуждать своих прав; если бы она захотела сделаться вещью, она останется человеком. Люди должны быть равны не потому, что одинаково служат деспотизму, а потому, что все они равно свободны. Всякая демократия не есть свобода; она есть вульгаризация абсолютизма. Есть такая сторона человеческой личности, человеческого бытия, которая по необходимости остается индивидуальной и независимой; пред ней бессилён и самый закон. Его вторжение в эту строго индивидуальную сферу было бы деспотизмом.

Такова эта стройная, законченная доктрина либерализма. Личность становится суверенной, правительство превращается в её послушного агента.

Но — увы! — все идеалистические построения Констана разбиваются вдребезги при соприкосновении с суровой действительностью. Констану равно дороги все виды индивидуальной свободы. Рядом с религиозной свободой, свободой печати, личной свободой или личной неприкосновенностью защищает он и неограниченную свободу собственности и промышленности. Свободная конкуренция представлялась ему экономическим идеалом. Всякие попытки регламентации со стороны представлялись ему излишними и вредными.

Рядом с жалобными lamentациями на полуголодное существование рабочих он степенно рассуждает, что природа вещей установит наилучшие законы отношений между борющимися сторонами.

Близорукость или аристократическая брезгливость Констана превращают его, таким образом, в апологета капитализма, предающего после длинных разглагольствований о суверенных правах личности неимущих в руки имущего.

Мало того! Самые политические права он считает возможным вручить только собственным, ибо только они благодаря досугу, независимости и подготовке, могут дать хороших политических деятелей.

Наконец, Констан высказывается и за наследственную верховную палату; её задача — уравнивать демократическую подвижность.

Вы чувствуете, как рассыпается по звеньям цепь свободы, скованная Констаном!

Абсолютная доктрина либерализма превращается в философию привилегированных, правящих классов; личность забыта, на её месте мы видим собственника или наследника громкого имени. Та игра социально-экономических интересов, в которой сильный всегда побеждает слабого, признается единственным законом общественного состояния. И слабый, якобы в ограждение его собственных интересов, был объявлен вне защиты.

В блестящем очерке, посвященном Констану, один из выдающихся современных историков литературы, Фагэ, даёт по нашему мнению, удивительно верную

характеристику его мирозерцания: «Констан создал, — пишет Фагэ, — либерализм, изумительной чистоты, но чудовищно холодный и сухой. Его либерализм есть бесконечная жажда личной автономии, ревнивое желание оградить себя елико возможно от всего остального существующего».

Таков Констан в изображении Фагэ, таковым, вероятно, он был и в действительности.

Мы не коснемся других либералов: учение Констана может быть названо последним словом либеральной доктрины. Вся позднейшая ее эволюция не дала ничего оригинального, кроме бесчисленных предательств на принципе, совершенных в разное время либеральными партиями и правительствами.

Либеральная доктрина, такая, как мы ее видели, должна быть осуждена! Она не есть защита свободы, она не есть отрицание свободы! Провозглашая свободу одних, она мирится с рабством других! Как абсолютно безнравственный принцип она сама в себе несет свое осуждение!

Социализм

Неудивительно, что человеческая мысль и совесть, страстно искавшая целения человеческих страданий, не могли удовлетвориться холодными формулами либерализма, под нарядной внешностью которых таилась скрытая ложь. «Во время революции 1789 года, — писал Лафарг, — буржуазия считала себя призванной защищать человеческие права и уничтожить все несправедливости: она провозгласила предстоящее осуществление равенства, свободы и братства. Эти слова написаны в конституции, их можно прочесть даже на тюремных стенах, но нигде они не вошли в жизнь. Свобода, равенство и братство — вот три главные формы лжи буржуазии».

В жизнь пробивается новое могучее мирозерцание — социалистическое, беспощадно один за другим разбивающее все аргументы либерализма, своей главной целью ставящее достижение полного равенства между людьми. В основе социалистических требований равенства лежит еще Кантовский постулат о человеке, как цели в себе. В главе «Об основных мотивах чистого практического разума» Кант учил, что все, что представляется нам в мироздании, все, над чем человек имеет власть, может быть рассматриваемо как средство; только человек и с ним всякое разумное существо есть цель в себе (*Zweck an sich selbst*). Человек есть субъект священного нравственного закона и не может служить средством для упражнения на нем чужой, посторонней воли. Каждое человеческое существо должно видеть в другом не средство, а цель, ибо в каждом, даже в самом низком, есть нечто, имеющее абсолютную ценность, — это его человеческая природа. Таким образом общество представляет собой совокупность равных и равно уважаемых целей.

Эта идея равноценности человеческих личностей вошла как незыблемый принцип в учения всех социалистических школ, начиная от утопического сен-симонизма и других ранних социалистических конструкций и кончая эпигонами научного социализма. Но идея человеческой равноценности была отвлеченным философским лозунгом, логической категорией, которую социализму предстояло воплотить еще в жизни.

Таким образом творческий процесс социализма должен был открыться разрушительной работой; он должен был вскрыть язвы, разлагающие капиталистический организм, поколебать тот строй, на который возлагали упования идеологи буржуазии — либералы, и тогда насадить семена нового учения.

Эта грандиозная работа была выполнена целой плеядой гениальных мыслителей и самоотверженных деятелей, — мы не можем назвать их при нашем беглом обзоре, хотя бы по именам, но первое место между ними, по праву, принадлежит Карлу Марксу.

В настоящее время является уже общепризнанным, что величайшие социологические обобщения, положенные в основу творения автора «Капитала», вовсе не являются всегда плодом его оригинального творчества. Так, например, еще в 1900 г. анархист Черкезов в знаменитом парижском анархистическом органе «*Ges Temps nouveaux*» сравнивал текст одной анонимной французской брошюры 40 годов — «Принципы социализма» с Коммунистическим Манифестом — этим евангелием научного социализма. Сравнение обнаружило разительное сходство между тем и другим. Было ясно, что Коммунистический Манифест делал многочисленные позаимствования из этой малоизвестной работы. В 1902 г. вышла любопытная монография профессора Андлера о происхождении Коммунистического Манифеста. Андлеру удалось показать, что мысли Манифеста были ходячими в 30-40 годах в социалистических кругах. Все они или элементы их уже ранее находились в трудах Консидерана, Пеккера, Бюре и других социалистов этого времени. Ту же судьбу разделило и учение о борьбе классов. Противно утверждениям Энгельса, а в недавнее время и Зомбарта, что учение о классовой борьбе, как движущем моменте исторического процесса, является исключительно оригинальным замыслом самого Маркса, идея эта имела очень ранних представителей.

Один из авторитетнейших социалистических писателей нашего времени, которого в то же время менее, чем кого-либо, можно заподозрить в недоброжелательстве именно к Марксу, — Плеханов, в предисловии к изданному им Коммунистическому Манифесту, отмечает долгую эволюцию интересующего нас учения. «Понимание классовой борьбы, — пишет он, — как важнейшего двигателя исторического развития уже в 20 годах достигло такой степени ясности, которая была превзойдена разве только в сочинениях авторов Манифеста». «Уже во время Реставрации, — замечает он в другом месте, — Сен-Симон и многие ученые представители французской буржуазии видели в борьбе классов главнейшую пружину исторического развития народов нового времени... Взгляд Маркса и Энгельса на борьбу классов тождествен со взглядом на те же предметы Гизо и его единомышленников. Вся разница в том, что одни отстаивают интересы пролетариата, между тем, как другие защищают интересы буржуазии». Наконец учение о прибавочной ценности, впервые проливающее яркий свет на эксплуатацию труда в капиталистическом строе, было впервые развито не Марксом, как утверждал это Энгельс в своем «Анти-Дюринге», а Годвином и особенно Томсоном. Но если теоретические формулы социализма складывались и разрабатывались еще задолго до Маркса, то все же нужен был синтетический титан, подобный Марксу, чтобы железным усилием мысли сковать воедино звенья социалистической идеи. Именно в этом гениальном превращении обрывков мыслей в единое цельное научное мирозерцание лежит непреходящая заслуга Маркса. Поэтому, минуя всех

предшественников творца научного социализма, мы остановимся на нем, чтобы выяснить сущность социалистического мирозерцания. С удивительной смелостью Маркс открывает свой анализ с учения о товаре. Под товаром Маркс понимает всякий внешний предмет, способный своими свойствами удовлетворять какую-нибудь из человеческих потребностей. Если такой предмет создан человеческими руками, на его производство затрачен труд, он не является даровым произведением природы, как, например, вода, он становится ценностью. Вне затрат труда для Маркса не существует ценности. Нас не интересует сейчас вопрос, насколько правильно такое воззрение на самую природу ценности. Но раз ценность есть продукт труда, невольно напрашивается элементарный этический вывод, что ценность должна и принадлежать труду, т.е. рабочему, который усилиями своих мышц, изготавливает данный продукт. Маркс пока еще не делает этого вывода, но он читается между строк этого замечательного анализа. Итак, товар должен принадлежать рабочему, его создавшему; но оглянемся на современное капиталистическое общество и посмотрим, так ли это на самом деле? Повсюду мы увидим бесчисленные кипы самых разнообразных товаров, начиная с самых дорогих и кончая самыми простыми в роскошных магазинах, транспортных конторах, пароходах, железнодорожных поездах, набережных и доках; повсюду они привлекают массы покупателей, создают громадные богатства их владельцам, представляя неисчерпаемый источник наслаждения для одних и вечных страданий и зависти для других. Но нигде не увидите вы, чтобы эти товары принадлежали рабочим, трудившимся над их изготовлением. Наоборот, полиция и армия приходят на помощь владельцам их, когда полуголодный рабочий, сраженный ужасами безработицы, приходит попросить и своей доли в этих несметных богатствах. Но оставим иллюстрации, пойдем далее...

Центральным вопросом в исследовании капиталистической системы является вопрос о происхождении капиталистической прибыли. В самом деле, если, как это утверждают буржуазные экономисты, хозяева промышленных предприятий в заработной плате полностью оплачивают труд рабочего, откуда же берется тот излишек, который образует прибыль предприятия? Ответом служит учение о прибавочной ценности, которое принадлежит к числу самых блестящих страниц «Капитала».

Даже те из принципиальных врагов социализма, которые решительно отвергают самую теорию, не могут отказать Марксу в необычайной логической стройности его построений, украшенных, к тому же взрывами того могучего сарказма, который представляет едва ли не самую обаятельную сторону в литературном даровании творца «Капитала».

Сущность капиталистической формы хозяйства заключается в процессе производства товара на рынок. Необходимыми предпосылками этого процесса являются: с одной стороны, наличность капиталистического класса, предпринимателей, владеющих капиталом и орудиями производства на началах частной собственности, с другой — существование рабочего класса, предлагающего на рынке свой единственный товар, свою рабочую силу. Капиталист приобретает этот товар с целью эксплуатировать его в своем предприятии. «Процесс потребления рабочей силы, — пишет Маркс, — есть в то же время процесс производства товаров и прибавочной ценности, т.е. прибыли».

В самом деле, капитал, вложенный в любое капиталистическое предприятие, по мысли Маркса, разбивается на две основные формы: капитал постоянный и капитал переменный. Под постоянным капиталом Маркс понимает сырой материал, вспомогательные вещества, орудия производства, т.е. ту часть капитала, которая своей ценности в процессе производства не меняет. Машина, например, постепенно изнашиваясь, соответственно и погашает свою ценность. Ценность эта не пропадает даром, она по частям входит в процесс образования ценности. Все то, что в своей ценности теряет машина, приобретает продукт, ценность которого возрастает пропорционально потерям ценности машины, причем машина отдает продукту ровно столько, сколько она имеет — ни больше ни меньше. Она вступает в предприятие с определенной ценой и уходит из него, целиком передав свою ценность продукту. Очевидно, что ни машина ни прочие орудия и средства производства прибыли создать не могут. В процессе образования ценности они не создают ничего лишнего. Есть только один товар, который в процессе производства свою ценность меняет и который Маркс называет переменным капиталом. Этот товар — рабочая сила. Рабочая сила не только воспроизводит свой эквивалент в процессе производства, не только возвращает капиталисту то, что тот затрачивает на нее при покупке рабочей силы на рынке, но и дает еще некоторый излишек, который и есть истинный источник прибыли, или прибавочной ценности. Когда капиталист нанимает на рынке рабочую силу, он договаривается с ней на определенный рабочий день, совершенно не сообразуясь с тем, в какую часть рабочего дня рабочий успеет отработать ему то, что он ему заплатил. Между тем ежедневный опыт показывает, что рабочий успевает воссоздать свою заработную плату в течение известной части рабочего дня, и вся дальнейшая работа является для капиталиста подарком, неоплаченным трудом, присвоение которого сулит ему неожиданно громадные барыши. Неоплаченное рабочее время превращается в прибыль, и труд является единственным источником ее.

Перед нами таким образом открывается яркая картина эксплуатации рабочего класса. Все неслыханные богатства современного общества, весь прогресс материальной культуры обязаны своим происхождением открытому легализированному, систематическому грабежу одной части общества другой.

Чем же обуславливается возможность этого присвоения труда чужих людей? Существованием института частной собственности на орудия и средства производства.

И социалистическая доктрина с жаром обрушивается на частную собственность, видя в ней источник порабощения, несчастий и страданий человечества. Только тогда люди будут счастливы, учит социализм, когда они будут равноправны; а равноправны они будут только тогда, когда орудия и средства производства будут обобществлены, когда само общество станет единственным хозяином и единственным работодателем. Отдельные же его члены, чтобы жить, наслаждаться, пользоваться благами культуры, должны будут трудиться. Деление на хозяев и рабочих, господ и рабов, исчезнет, — все будет равно.

Уже ранние социалисты превосходно сознавали все несовершенства капиталистического строя. Но им не под силу оказалась задача найти против него действенное средство. Громадное большинство из них, отвечая на вопрос, каким образом экономическое порабощение может смениться экономической свободой, полагало, что этот успех может быть достигнут только нравственным воспитанием человечества.

Нужно обращаться к благородным инстинктам и стремлениям человека, внушить сострадание к меньшому брату, или, наконец, встав на утилитарную точку зрения, показать социально-экономические преимущества нового строя. Самые причудливые утопические узоры были сотканы по этому плану. Но и до сих пор капиталистический мир стоит твердо, посмеиваясь над бреднями альтруистов-философов.

Впервые научный социализм, с необычайным искусством разложивший капитализм на составные его части, открыл нам и будущее.

Капиталистический строй сам в себе несет свою гибель. Это — колосс на глиняных ногах. В необузданной мировой конкуренции нашего времени капиталистические гиганты побивают капиталистических гномов. Число эксплуататоров убывает, но вместе с тем растут размеры предприятий. Капиталы сосредотачиваются в немногих руках. Вместе с тем капитализм собирает и формирует бесчисленную армию рабочих. Объединяя их под крышами своих предприятий, он воспитывает в них чувства солидарности, понимания общности их интересов и готовит таким образом сам себе могучих врагов. Приблизится день, когда лицом к лицу встанут дрожащие за свой интерес угнетатели и одушевленные идеей освобождения рабочие. Тогда исход борьбы несомненен!

Предоставим слово Марксу: «Экспроприация непосредственных производителей совершалась с беспощадным вандализмом и под влиянием самых гнусных, грязных и мелких страстей. Частная собственность, приобретенная собственным трудом, была вытеснена частной, капиталистической собственностью, основанной на эксплуатации чужого, но по форме свободного труда... Но один капиталист постоянно побивает многих других... Вместе с постоянно уменьшающимся числом магнатов капитала, которые похищают и монополизируют все выгоды этого процесса превращения, возрастает бедность, гнет, порабощение, унижение, эксплуатация; но увеличивается также и возмущение рабочего класса, который постоянно возрастает и постоянно обучается, объединяется, организуется самим механизмом капиталистического процесса производства...»

Сосредоточение средств производства и обобществление труда достигает такой степени, что они не могут далее выносить свою капиталистическую оболочку. Она разрывается, бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприирующие экспроприируют... Прежде дело шло об экспроприации народных масс немногими узурпаторами, здесь дело идет об экспроприации немногих узурпаторов народом...

На этом можно поставить точку.

Разрушительное творчество социализма кончилось. Переходим к их зодчеству.

Здесь все неопределенно и туманно. Маркс, который с такой неумолимой логикой сорвал все покровы с капиталистического механизма, обнажив сокровеннейшие его части, лишь смутно говорит, что наследником его будет кооперация свободных работников, сообща владеющих средствами производства, в том числе и землей.

Совершенно справедливо заметил один из критиков Маркса, что его гениальные труды посвящены не теории социализма, а теории капитализма. Общественные идеалы Маркса остались навсегда неясными; но все же, если мы не хотим работать в утопических казармах — фаланстерах или заселять необитаемые острова по рецепту ранних социалистов, мы должны будем обратиться к многочисленным

последователям и сторонникам Маркса, чтобы найти у них хоть намеки на будущий строй.

Еще Энгельс говорил, что «задача научного социализма состоит не в создании наиболее совершенной формы общества, а в анализе исторического хода хозяйственного развития...»

Антон Менгер горячо обрушивается на Энгельса за эти слова: «Я считаю тонкое описание наиболее совершенного строя не только вполне научным, — говорит он, — но прямо необходимым, если социалистическое движение хоть отчасти хочет достигнуть своей цели...»

После этого заявления Антона Менгера в литературе, критикующей марксизм, стало общим местом бросать социализму упрек, что он не интересуется своими конечными целями.

Заслуженную отповедь всем этим ненавистникам социализма дал К.Каутский в предисловии к известной книге Атлантикуса «Государство будущего». «Ни один вопрос, — справедливо говорит Каутский, — не обращает на себя такого большого внимания всего культурного человечества, как вопрос о цели, к которой стремится все более расширяющееся могучее движение пролетариата... Самые оживленные споры теоретиков касаются именно цели пролетарского движения... Но, понятно, мы можем до некоторой степени изучить направление развития социалистического государства, но не отдельные формы, которые оно может принять... В виду сказанного, социал-демократия всегда отказывалась и должна была отказываться от каких бы то ни было изображений будущего».

Если социалисты совершенно правильно отказываются от какого бы то ни было искусственного строительства, они указывают нам тенденцию развития. «Все средства производства, — говорит Каутский в Эрфуртской программе, — будут соединены в одних руках. В новом обществе будет только единственный работодатель, которого невозможно переменить...»

Прочтите другой небольшой этюд Каутского: «На другой день... после социальной революции», и вы увидите, как новое общество пролетариев создает грандиозный государственный механизм, которому равно должны быть подчинены все.

Эта государственная машина является экономической и логической необходимостью для проведения в жизнь планомерной организации общественного производства, составляющей сущность социалистического идеала. Усмотрение и инициатива отдельных лиц исчезает. Их место занимает всевидящее око универсального государства, подобно благодетельному деспоту, распределяющего труд и изливающего щедроты на атомы, его наполняющие. Общество живет рядом с личностью, но живет собственной жизнью, и в этой жизни поглощается и претворяется жизнь личности. Громадное большинство новейших социалистов, правда, формально отказывается от идеи авторитарного социализма. «Государственная организация, — писал, например, Бебель, — теряет почву и государство исчезает... С уничтожением частной собственности и классовых противоположностей отпадает постепенно и государство». Как писал еще Энгельс, «государство не отменяется, оно отмирает». «Мы хотим уничтожения государства, — восклицает Лафарг, — мы думаем, что государство служит только оплотом капитализма». Но не будем предаваться иллюзиям на это счет. Конечно, и Энгельс, и Каутский, и Бебель, и Лафарг, и множество других протесту-

ют против современной государственной формы. Конечно, ни один социалист не допускает в будущем возможности существования классового государства; но государство как принцип, как принудительная организация, указывающая личности определенный путь, останется, и не только останется, но обратится в апофеоз всеобъемлющей, сознательной и разумной власти, т.е. самой тяжелой ее формы, которую только может себе вообразить человеческий ум. «Пусть социализм, — говорит тонкий юрист Штаммлер, отнюдь не приверженный к анархизму, — восстает против содержания существующего права... Он, однако, должен не только сохранить юридическое принуждение, но, по всем вероятностям, будет вынужден значительно усилить его в некоторые переходные моменты, а во многих отношениях и укрепить». Конечно, в социалистическом строе будут широко осуществлены все виды свободы, которые являются необходимой предпосылкой всякого культурного человеческого общежития: свобода совести, печати, собраний, союзов, личная свобода и т.п. Не будет только одной формы свободы, но самой драгоценной и самой необходимой — свободы самоопределения, сознания полной абсолютной независимости от кого бы то ни было, от принудительных организаций. Личность не будет в действительности целью в себе. Вечно будет и должна она сознавать, что она не есть нечто самодовлеющее, что вне ее лежит другое, гораздо более могучее начало, которое будет ее всегда держать в рабстве. Социалистический строй, таким образом, будет гнети не своим обязательным трудом, сведенным к минимуму, и несущим с собой, несомненно, даже определенный элемент радости. Он будет гнети совей психикой, своим социалистическим шовинизмом, который будет так же ненавистен и так же будет претить всякой сильной индивидуальности, как и современное тупое буржуазное самодовольство и безграничная вера в непогрешимость догмата «laissez faire, laissez passer». Социализм также будет гнать за все покушения против него. Упразднив общеобязательного бога, он создает свою собственную религию, религию социализма. Разрушение социалистического строя станет самой тяжелой формой человеческого преступления, и социализм воспитает ревностных и фанатичных служителей. Сохранение и охрана социализма станут новым догматом и на сцену явятся новые формы цензуры. Социалистическая вера обратится в новое орудие угнетения, в новую форму власти, следовательно, гибели человеческой личности. И, конечно, социализм представляет несомненно большую опасность для нее, чем абсолютизм и клерикализм, потому что никогда те не имели к своим услугам такого арсенала знаний, таких блестящих умов, такой жестокой и верной критики преходящих порядков. Известный голландский социалист Ван-Коль писал недавно: «Социализм, который мы защищаем, которому принадлежит будущее, есть середина между абсолютной свободой анархизма и абсолютным равенством коммунизма».

Вот почему наперед можно предсказать кризис и крушение социалистической идеи после осуществления социалистического строя. Ее основание — золотая середина (*juste in ilieu*). Никогда она не будет в состоянии удовлетворить вполне ни человеческого ни человеческой совести. Социализм есть только философия ножа и вилки. Он накормит голодающих и в этом будет заключаться его бессмертная заслуга перед человеком. Но, уничтожив страдание тела, он остановится в бессилии перед страданиями духа; их целить призван анархизм.

Анархизм

Из всех формул, в которые страдающее, мыслящее и мечтающее человечество облекло свои страстные искания общественного идеала, — анархизм, несомненно, является наиболее возвышенной и наиболее полно отвечающей на запросы пытливейшей человеческой мысли. Наиболее возвышенной, говорю я, потому что центральной идеей анархизма является конечное освобождение человеческой личности.

Ни в одном миросозерцании экономические классовые интересы не играют такой ничтожной роли, как в миросозерцании анархизма. Философия либерализма есть философия привилегированных классов, социализм есть философия пострадавшего пролетариата, анархизм — философия пробудившегося человека. Ему равно ненавистны все цепи, кто бы их ни ковал; ему ненавистен абсолютный сюзерен так же, как абсолютный монарх; конституционный парламент так же, как социалистическое государство. Во всякой правительственной форме, во всякой организации власти он видит насилие и протестует против них во имя абсолютной личной свободы.

История показала, что всякая власть развращает властителя. Поэтому анархизм — враг всякой власти. «Государство, — говорит, например, Бакунин, — есть насилие... Оно — законный нарушитель нашей воли, постоянный отрицатель нашей свободы. Если оно приказывает даже сделать что-нибудь хорошее, то и это хорошее оно своим приказанием делает бессмысленным, так как этим поругана свобода... Свобода, нравственность и человеческое достоинство состоят в том, чтобы делать хорошее не по приказанию, а по собственной воле, по собственному убеждению. Но и правящие гибнут, ибо свойства привилегированного положения таковы, что они отравляют дух и сердце человека. Это — закон социальной жизни, не терпящий никаких исключений, справедливый столько же к отдельным лицам и классам, как и к целым народам...»

Формы государства для анархизма безразличны. «Всякое народное представительство, — говорит Кропоткин, — как бы оно ни называлось, парламентом ли, конвентом, коммунальным советом или как-нибудь иначе, подобно любому деспоту будет всегда стремиться лишь к тому, чтобы расширить свою власть... и убить инициативу личности и группы путем закона...»

«Государство, — говорит, наконец, американский анархист Тукер, — есть олицетворение идеи нарушения чужого права; оно самый большой преступник и гораздо больше плодит преступников, чем наказывает их».

Но если в вопросе об отношении к государству мы встречаем среди анархистов полное единодушие, то в их воззрениях на право, как институт общественной жизни такого согласия далеко не существует. Это в значительной мере объясняется тем, что анархистическое миросозерцание резко разбивается на две самостоятельных и нередко враждебных фракции: анархизм коммунистический и анархизм индивидуалистический.

Обратимся сперва к коммунистическому анархизму. Хронологически он является позднейшим, но зато гораздо более распространенным, чем анархизм индивидуалистический. Последний, главным представителем которого в настоящее время является Тукер, насчитывает очень немного адептов в Северной Америке и Великобритании. В Европе анархистов-индивидуалистов почти не существует; все европей-

ские анархисты — сплошь коммунисты. В основании коммунистического анархизма лежит идея солидарности, понимаемая в самом широком смысле.

Из целого ряда наблюдений в биологической области анархисты-коммунисты, в особенности же Кропоткин и Реклю, выводят грандиозный, социологический закон взаимопомощи, регулирующий, по их мнению, жизнь человеческих обществ.

В известном своем сочинении «Взаимопомощь среди животных и людей» Кропоткин в целом ряде любопытных этюдов, посвященных то миру животных, то дикарям, то средневековому городу, наконец, нашему обществу, показывает, как закон взаимопомощи модифицирует всегда и всюду закон борьбы за существование. Кропоткин отмечает, что еще Дарвин предостерегал своих последователей от переоценки его термина «борьбы за существование», понятого слишком узко. В «Происхождении человека» Дарвин, например, указывает, «как в бесчисленных сообществах животных исчезает борьба между отдельными индивидуумами из-за средств существования, как борьба заменяется кооперацией». В другом месте Дарвин писал, что «те общества, которые будут заключать наибольшее количество членов, наиболее симпатизирующих друг другу, будут и наиболее процветать и оставлять наибольшее количество потомков».

Из своих собственных разнообразных наблюдений, Кропоткин также выводит заключение, что взаимная помощь есть такой же закон животной жизни, как и взаимная борьба. И человек, по мнению Кропоткина, не является исключением в природе. Он также подчинен великому принципу взаимной помощи, гарантирующей наилучшие шансы выжить и оставить потомство.

Мы не можем здесь, да и не в нашей компетенции решать вопрос, насколько прав Кропоткин, возводя свои и чужие, разрозненные, хоть и многочисленные наблюдения на степень биологического принципа. Для нас важно то, что этот принцип является руководящим лозунгом для всей школы анархистов-коммунистов. Таким образом в будущем общежитии анархистов-коммунистов прежде всего должна быть осуществлена идея братства. Самый свой будущий строй коммунистические анархисты изображают в форме организации свободных общин в целях общего производства. Община есть идеальное соглашение между отдельными личностями, добровольно группирующимися в целях достижения общего интереса.

Никто не должен быть насильно связан с общественной организацией; всякий волен выйти из нее, когда ему вздумается, когда общество начинает чем-либо стеснять свободу индивидуального самоопределения. В этом обществе не будет частной собственности. Все произведенные продукты будут принадлежать ровно его членам, и все будут получать из произведенного по своим потребностям.

Коммунистические анархисты совершенно единодушны по отношению ко всякому установленному праву. Во всяком законодательстве они видят лишь средство эксплуатации одних людей другими. Всякое право, по их мнению, тесно связано с государством, этой отжившей формой насилия. Закон всегда и везде стремится лишь к тому, чтобы увековечить обычаи, полезные для господствующего меньшинства.

«Если изучать миллионы законов, — пишет Кропоткин в "Речах бунтовщика", — подчиняющих себе человечество, легко можно заметить, что они подразделяются на три обширных класса: законы, защищающие собственность, законы, защищающие правительство и защищающие личность... Все они равно бесцельны и вредны.

Социалисты превосходно знают, какую роль играют законы о собственности... Они служат не для того, чтобы обеспечить отдельным лицам или обществам пользование плодами их трудов. Наоборот, для того, чтобы узаконить похищение части продукта у его производителя и защищать похитителя. Что касается законов, защищающих правительство, то стоит ли его защищать, когда все правительства, монархические ли, конституционные или республиканские, имеют своей целью удержать насилием привилегии имущих классов: аристократии, буржуазии, духовенства. Более всего предрассудков существует насчет третьей категории законов, охраняющих личность. Но, анархисты, — восклицает Кропоткин, — должны всюду проповедовать, что и эти законы так же вредны, как и все остальные. Прежде всего известно, что, по крайней мере, 75 процентов всех преступлений против личности внушаются желанием овладеть чужим богатством. Эти преступления должны исчезнуть вместе с исчезновением частной собственности. Что касается других мотивов, то уменьшила ли когда-нибудь жестокость наказаний число преступников? Остановился ли когда-нибудь хоть один убийца из-за страха наказания? Кто хочет убить своего ближнего из мести или нужды, тот не станет раздумывать над последствиями. Каждый убийца убежден, что он избегнет наказания... Если бы убийство было объявлено безнаказанным, то, конечно бы, число убийств не увеличилось, а сократилось, так как много убийств теперь совершается рецидивистами, испорченными в тюрьме.»

Но... если положительное законодательство исчезнет, это не значит, что должно исчезнуть «право вообще». Это право будет заключаться в высшем, естественном праве для всякого анархиста, не слушаться никого другого и действовать только по своему личному усмотрению. Разумеется и отдельные лица и общины, в представлении анархистов-коммунистов, могут вступать в договоры, но и обязательства по отношению к договорам имеют границы. «Человеческая справедливость, — говорит Бакунин, — не знает вечных обязанностей. Все права и обязанности основаны на свободе. Право свободного объединения и распадаения есть первое и главное из всех политических прав».

Наконец все анархисты-коммунисты считают одну правовую норму общеобязательной для осуществления своих идеалов: чтобы земля и все орудия и средства производства принадлежали обществу.

Совершенно отрицает право и Л.Толстой, занимающий особое место в ряду анархистов-коммунистов. «Законы, — говорит он в "Царствии Божиим", — суть произведения корысти, обмана, борьбы партий... в них нет и не может быть истинной справедливости... Признание каких бы то ни было... особенных законов есть признак самого дикого невежества.»

Таким образом коммунистический анархизм как будто сметает все общественные институты нашего времени: законы, собственность, государство.

Посмотрим, что же такое индивидуалистический анархизм?

Истинным родоначальником индивидуалистического анархизма является замечательный писатель, мало оцененный еще и в настоящее время: Иоганн Каспар Шмидт.

В 1845 году он выпустил свою знаменитую книгу «Der Einzige und sein Eigentum» (Личность и ее собственность), под именем Макса Штирнера. Книга эта, по справед-

ливому замечанию Штаммера, представляет собой самую смелую попытку, которая когда-либо была предпринята, — попытку сбросить себя всякий авторитет.

Для личности Штирнера нет никакого долга, никакого морального закона; даже признание какой-нибудь истины для нее невыносимо; оно налагает, по его мнению, оковы на свободную человеческую личность. «До тех пор, пока ты веришь в истину, — говорит Штирнер, — ты не веришь в себя; следовательно ты — раб, ты — религиозный человек. Между тем ты сам истина... Ты больше истины, которая ничто в сравнении с тобою».

Центральная идея, проникающая всю философию Штирнера, есть идея личного блага. «Я» — единственный властелин, перед которым все должно склониться; вне «я» и за «я» ничто не существует. «Не все ли мне равно, — думает Штирнер, — как я поступаю, человечно ли, либерально, гуманно или наоборот; все эти вопросы меня не касаются, если я удовлетворяю себя чем-нибудь. Если я достигаю того, чего хочу, то все остальное мне безразлично... потому что все, что я делаю, я делаю ради себя... Ты для меня ничто иное, как пища, так же, как и я для тебя; мы взаимно истребляем друг друга...»

После этих утверждений необычайной силы, что такое право и государство для Штирнера?

Права нет; право заключается во власти. Я имею право на все, что могу осилить. Я имею право низвергнуть Зевса, Иегову, Бога, если только я в силах это сделать... «Я» строю все на своем «я», так как «я», точно так же, как Бог, есть отрицание всего остального. «Я» — все! «Я» — единый!

Перед этой всеобъемлющей личностью государство исчезает; оно претворяется в ее сознании. Вместо него личности Штирнера образуют своеобразную форму сожительства, названную им «союзом или ферейном эгоистов». Все члены этого союза будут жить своими собственными личными законами; они не будут одурманены, как в обычном человеческом обществе, различными социальными обязанностями. Общество всегда над тобой, «союз эгоистов» — орудие в твоих руках; общество пользуется тобою, союзом пользуешься ты!

Невольно рождается вопрос, что же Штирнер ждет полного прекращения общественной жизни?

Эгоистическая философия отвечает на это безусловным отрицанием. Нет! человек всегда будет нуждаться в другом человеке; он не может существовать в одиночестве; но разница между прежним обществом и новым строем, замышленным Штирнером, — та, что прежде люди были связаны, а в ;союзе эгоистов; они будут объединяться добровольно в зависимости от нужды во взаимных услугах.

Во всей необъятной литературе анархизма мы не встречаем принципа индивидуализма, проведенного с такой силой и страстностью через все учение, как в теории Штирнера.

В своих философских основаниях индивидуалистический анархизм, в сущности, после Штирнера не сделал ни одного шага дальше. Поэтому мы лишь в двух словах очертили интересную физиономию Тукера, являющегося наравне с Макаем в настоящее время единственным крупным представителем индивидуальной фракции анархизма.

Конечно, и для Тукера личная выгода является высшим законом жизни.

В противоположность анархистам-коммунистам, строящим свою философию на идее солидарности, индивидуалистические анархисты своей жизненной философией должны, по мнению Тукера, назвать «эгоизм». Но, признавая эгоизм единственной движущей силой человека, Тукер из него выводит закон равной свободы для всех. Именно в ней эгоизм и власть личности находят свой логический предел. В этой необходимости признавать и уважать свободу других кроется и источник правовых норм, основанных на общей воле.

Таким образом индивидуалистический анархизм не только допускает право, как результат соглашения общины, но, как мы увидим позже, угрожает даже серьезными наказаниями тем, кто попытается нарушить такую правовую норму.

Но, конечно, самым оригинальным моментом в учении индивидуалистического анархизма является решительное допущение им частной собственности. Проблема, стоявшая перед индивидуалистами, была такова: допустимо ли в анархистическом обществе, чтобы отдельная личность пользовалась средствами производства на началах частной собственности. Если бы индивидуалистический анархизм ответил отрицательно, он высказался бы этим самым за право общества вторгаться в индивидуальную сферу. И абсолютная свобода личности, являющаяся символом всего учения, стала бы фикцией. Он избрал второе, и институт частной собственности на средства производства и землю, — другими словами, права на продукт труда возродились в индивидуалистическом анархизме.

Перед нами две анархистические доктрины. Обе говорят нам о полной решительной эмансипации личности. Мы видели, как возвышенны идеалы, вдохновлявшие творцов анархизма. Но ищущему света не нужно позволять ослеплять себя его блеском. Нужно идти к его источнику. Попытаемся и мы, вооружившись бесстрашием, критически отнестись к обеим формам анархизма.

Первый вопрос, вопрос исключительной важности, который будет нас занимать, — вопрос, действительно ли современный анархизм представляет собой высшую форму развития индивидуалистической мысли? На первый взгляд такой вопрос может показаться пустым и праздным. Можно ли сомневаться в индивидуалистическом характере философии анархизма, когда все его проповедники только и толкуют, что о полной эмансипации личности, свободе самоопределения, категорическом отрицании всего, лежащего вне индивида и так далее и так далее.

Но не следует смущаться всеми этими торжественными заявлениями. Наряду с ними мы слышали и о правовых нормах и об общей воле, связывающей членов общины, наконец, о необходимости уважения чужих прав и даже частной собственности.

Действительно, коммунистический анархизм прежде всего не есть индивидуализм.

В изумительной по богатству эрудиции книге французский анархист Амон посвящает целую главу решению этого волнующего нас вопроса не есть ли анархизм фракция социализма? После добросовестного исследования целых груд анархистической литературы, он приходит к неотразимому выводу, что коммунистический анархизм есть лишь фракция социализма.

Индивидуалистические анархисты, как, например, Тукер, а за ним и голландский анархист Домела-Ньювенгуис полагают, что анархизм и коммунизм суть два взаимоисключающих понятия. Тукер отрицает всякое право за Кропоткиным, Реклю,

Мостом, Списом, Гровом и другими называть себя анархистами. «Они — коммунисты, социалисты», но только не анархисты, говорит он.

В одном из русских органов коммунистического анархизма мы находим следующую страстную реплику против индивидуального понимания анархизма: «Анархизм не есть индивидуализм. Анархизм признает для всех равноправность существования и самозащиты от чьих бы то ни было экономических и политических посягательств. Анархизм не говорит: "Я выше всех", он говорит: "я равен каждому; но ни отдельной личности ни многим я не подчиняюсь, я — хозяин своих поступков. Анархизм не есть отрицание общества, не есть отрицание организации... Путем организации свободных личностей, добровольно вкладывающих свой труд в общественное — оно же и личное — дело, человечество может проявить наивысшую сумму энергии и достигнуть наибольших результатов в приспособлении природы для своих целей.»

Не есть ли эти слова самое яркое исповедание социалистической доктрины. И социализм в основу своих построений кладет равноправность существования; и социализм обещает в социалистическом строе полную свободу личности; и социализм видит в организации свободных людей недостижимые иным путем экономические преимущества. Следовательно, между социалистической доктриной и коммунистическим анархизмом нет принципиальной разницы, несмотря на бесчисленные отлучения, которыми осыпают друг друга социалисты и анархисты.

Мирозерцание анархистов-коммунистов враждебно мирозерцанию только так называемых авторитарных или государственных социалистов. Но разве мы не видели уже из предыдущей лекции, что все выдающиеся из современных представителей социал-демократии тоже отстают перед грозным призраком государства-Левиафана?

Все учение анархистов-коммунистов представляет из себя компромисс между стремлением к абсолютной свободе индивида и теми ограничениями, которые налагает всякая социальная жизнь. В самом деле, идеальный строй коммунистического анархизма есть организация свободных общин, вступающих между собой в договорные отношения. Следовательно, и коммунистические анархисты признают, что социальная жизнь без организации, без той или иной формы внешнего регулирования является невозможной. Но в «любом соглашении между людьми, — справедливо говорит Штаммлер, — уже находится сама по себе известная модификация и известное регулирование естественной жизни каждого отдельного человека».

Всякое неисполнение или уклонение от соглашения представляет уже собою нарушение чужого права. Если анархизм мирится с таким порядком, он коренным образом извращает тот принцип, который положен в основу всего его учения: принцип равноправности членов, принцип абсолютного равенства, как логический вывод абсолютной свободы всех индивидов, объединенных в союз. Если же анархизм не желает мириться с тем хаосом, который является неизбежным результатом такого порядка отношений, он должен создавать карательные нормы, закон, — все то, против чего он так страстно борется. И коммунистические анархисты, чтобы защитить свой любимый общественный идеал от упреков в хаотичности и беспорядке не останавливаются перед последним. Да, они должны признать в отдельных случаях и принудительные нормы. «В будущем, — говорит Бакунин, — будут существовать только такие нормы, которые будут опираться на волю всех и повиновение которым

в нужных случаях будет принудительное». То же самое говорит и Кропоткин в разных местах своих «Речей бунтовщика» или «Завоевания хлеба». Боязнь быть удаленным из общины или союза является, по мнению Кропоткина, достаточной угрозой на тот случай, если бы кто вздумал отказать в повиновении общей воле...

Но разве эта угроза не страшнее тех кодексов, которые насоздавала буржуазия для усмирения непокорных граждан? Куда идти анархисту с его свободой самоопределения, изгнанному из пределов общины; и в чем же, наконец, принципиальная разница между таким принудительным удалением и наказаниями, которые расточает современный режим? Анархизм обещает дать полный простор индивидуальной воле, но ее там нет, где есть организация, где есть принуждение, где есть общая воля.

Даже там, где нет никаких принуждений, как в пасторальных идиллиях Толстого, где непотворение злу является единственной инстанцией, решающей все социологические и психологические вопросы, кто может поручиться, что после трех дней безмятежного, счастливого существования не выплывут неожиданно всем знакомые фигуры земского начальника или урядника. И что же с ними делать, если учитель говорит: «Не противься злу».

После всего вышесказанного отрицание анархизмом политических форм, принципа централизации является уже мало существенным для философского освещения анархизма.

И с формальной стороны и со стороны внутреннего содержания коммунистический анархизм представляет собой, таким образом, не более как этап, правда, могучий в развитии общей социалистической мысли. Это — либертарный социализм, который бросил миру новые великие идеи, но который оказался совершенно не в силах наполнить свои соблазнительные формулы конкретным содержанием.

Более продуманным и законченным представляется нам анархизм индивидуалистический, но и он вопреки своему названию не может быть назван торжеством индивидуалистической идеи. Если нас уже страшили те принудительные веления, которыми располагал коммунистический анархист, то средства для поддержания гармонии и порядка в индивидуалистическом анархизме нам кажутся просто чудовищными.

В целом ряде своих сочинений Прудон с поразительной наивностью развивает свою идею договора: общество истинно свободных людей может и должно быть построено только на идее свободного договора. Но раз договор заключен, человек становится его рабом, ничто не может отклонить его от исполнения священного обязательства, принятого на себя добровольно. Страшные наказания грозят в случае его нарушения. В отдельных случаях оно может повлечь за собой не только исключение из анархистического строя, но и смертную казнь!

И — увы! — Прудон является далеко не единственным в ряду тех печальных анархистов, которые договариваются до смертной казни. Правовые нормы, установленные общей волей, по мнению Тукера, должны быть защищаемы всеми средствами. Нельзя останавливаться ни перед тюрьмой, ни перед пыткой, ни даже смертной казнью.

Если бы даже индивидуалистический анархизм во всех отношениях удовлетворял вполне потребности человеческого духа, то уже одно допущение возможности подобного реагирования со стороны общественного организма является полным ниспровержением всех индивидуалистических идеалов. Можно ли говорить о сво-

боде личности в том строе, где ею жертвуют в случае нарушения, хотя бы и самого священного договора? Следовательно, и здесь, как и в коммунистическом анархизме мы сталкиваемся с той же трагической невозможностью — разрешить величайшую проблему человеческого духа.

Критическая работа, исполненная анархизмом, колоссальна. Он перевернул все точки отправления и официальных и непризнанных общественных философий! Впервые в ослепительно-яркой картине развернул он мощь и богатство человеческой природы. Безграничное развитие человеческого духа, нестесняемое никакими внешними преградами и условиями, — такова была социально-философская программа, которую начертал он на своем знамени. Но рядом с этой грандиозно поставленной задачей еще более бросается в глаза убогое нищенство тех средств, которыми пытался провести он свою программу в жизнь. Ни один еще анархист, без различия толков, не сумел показать, что излюбленный им общественный идеал является необходимой стадией исторического развития, что никакие человеческие учреждения и насилия не помешают восторжествовать анархическому идеалу. Называя себя эволюционистами они в сущности остаются утопистами добрых старых времен и их экономические построения и положения, несмотря на кажущуюся серьезность, постоянно сбиваются на старый романтический лад.

Состояние, которое переживает современный анархизм, в высшей степени напоминает ту эпоху в развитии социалистической мысли, когда впервые над нею был призван работать К.Маркс. Те же мечтания, то же хождение ощупью, те же неспособность и неумение не только разрешить, но и поставить проблему.

Та грандиозная задача, которая была выполнена Марксом по отношению к социализму, еще даже и не поставлена для анархизма. Маркс дал гигантский синтез социалистической мысли. Для анархизма подобная работа еще не начиналась.

Даже в произведениях выдающихся представителей анархистической доктрины мы будем поражены слабостью теоретической аргументации. Конечно, пафос сердца, трепет страдания, которыми проникнуты многие вдохновенные страницы Кропоткина или Реклю, невольно заражают читателя; но в этих книгах, писанных кровью сердца, нет той неумолимой логики фактов, которая не только трогает, но и убеждает.

Анархистическая доктрина только тогда сумеет прочно встать на ноги, только тогда она выпрямится во весь рост, когда сумеет доказать свою социалистическую и психологическую необходимость. Между тем все средства, рекомендуемые анархизмом, сводятся к пропаганде любимых идей или к подготовке в ближайшем будущем социального переворота. С простодушием детей верят анархисты, что успех их идеи может наступить уже завтра. Все коммунистические анархисты и громадное большинство индивидуалистических убеждены, что анархистический строй может явиться непосредственно наследником буржуазного режима. Но доказательств нет! Все вопросы решают лишь стремления сердца и личная убежденность.

Однако отсюда еще очень далеко, чтобы признать анархистический идеал неосуществимым. Несомненным свидетельством его жизненности может служить уже то обстоятельство, что им увлекались и продолжают увлекаться выдающиеся мыслители, ученые, художники. Идеи анархизма носятся в воздухе; они завоевывают все больше и больше симпатии масс; анархистические общества, журналы, посвященные разработке анархистических идей непрерывно растут. В 1896 году Элизе

Реклю с чувством законной гордости рекомендовал читающей публике объемистую книгу Неттлау, посвященную специально библиографии анархизма. Все эти соображения, точно так же, как более чем пятидесятилетняя хронологическая давность анархистической идеи, лучше всего свидетельствуют об ее жизнеспособности.

Следовательно, задача, лежащая пред всеми настоящими и будущими анархистами, пред всеми, кому дорого освобождение личности, должна заключаться в том, чтобы показать, что анархистический строй должен быть логически неизбежным выводом предыдущего исторического развития, что в современных общественных условиях зреют те силы, которые являются необходимой предпосылкой будущего анархистического общества.

Конец моей лекции я и желаю посвятить попытке решения капитальной проблемы анархизма. Мы заранее опускаем все мелочи и детали, мы наметим лишь основные тенденции, которые должны освятить наш путь.

Задача, подлежащая нашему решению, представляется нам в следующем виде. Каким образом можно осуществить абсолютную свободу индивида, не прекращая общественной жизни?

Абсолютная свобода индивида, понимаемая в смысле полной независимости от внешних человеческих установлений, — невозможна в социальной жизни. В самом деле, социальная жизнь, как заметил еще Штаммлер в своем замечательном исследовании «Хозяйство и право», есть «нечто иное и большее, чем простой факт совместного существования людей в пространстве и времени. Социальная жизнь есть особый вид совместной жизни». Но, чем же отличается социальная жизнь от простого физического сосуществования людей? Отличие лежит в постоянстве и необходимости сношений между людьми, участвующими в данной форме социальной жизни.

Но постоянство и необходимость сношений требуют известного внешнего регулирования, и в от это внешний распорядок человеческих отношений один только и может служить характерным признаком понятия «социальной жизни».

Следовательно, социальная жизнь есть «внешним образом упорядоченная совместная жизнь людей».

Всякий внешний порядок есть предположение известной организации, но всякая организация, как общественный принудительный момент, является антиномией по отношению к свободе личности.

Таким образом основной идеал анархизма и социальная жизнь суть две непримиримые противоположности. Следовательно, для осуществления анархистического идеала нужно искать такой формы сосуществования людей, которая, допуская возможность сношений между людьми, отвергала бы самую мысль о каком-либо внешнем распорядке или регулировании.

Но каким целям может служить организация, как таковая, в будущем обществе? Если мы всмотримся ближе в сущность исторического процесса, развивающегося перед нами, мы заметим две основные, но прямо противоположные и враждебные друг другу тенденции.

С одной стороны, человеческая личность с каждым днем становится все более и более самостоятельной. Каждый новый ее шаг, каждая ее крупная политическая перемена, каждая новая революция есть завоевание в смысле расширения ее прав.

Начало внешнего принуждения начинает играть по отношению к ней все меньшую и меньшую роль.

Наоборот, другая тенденция заключается в том, что вместе с развитием культуры неудержимо растут и задачи общественного союза. Полномочия его расширяются, и он закрепляет свои позиции железной организацией. Если для иллюстрации первой тенденции мы можем сослаться на полное освобождение человека от религиозных пут вместе с возвещением свободы совести во всех культурных государствах современного типа, то ярким примером второй тенденции может служить постоянный и чудовищный рост государственного бюджета, который знаменует собой разрастание общественной или, как ее выражения, государственной деятельности.

Но если мы будем изучать эволюцию второй тенденции в историческом процессе, то мы должны будем убедиться в том, что рост общественной власти насчет личности в настоящее время возможен и терпим только в экономической области. Таким образом все внешние организации, загромаждающие наш мир и пугающие нас призраком близкого человеческого закрепощения, создаются исключительно в хозяйственных целях.

Следовательно, наша задача, поставленная выше об отыскании такой формы общежития, которая не требовала бы внешнего порядка или урегулирования, теперь упрощается. Нам нужно найти такую форму человеческого сосуществования, которая обходилась бы в своей хозяйственной деятельности без всякой внешней организации, то есть не заключала бы в себе никакого принудительного элемента.

Наше решение сводится к следующему: величайшим рычагом экономического прогресса является момент разделения труда или, как говорят экономисты, дифференциации функций. Было бы крупнейшим заблуждением полагать, что в разделении труда мы имеем дело с исключительно новым моментом, впервые всплывающим на общественную поверхность с буржуазным способом производства. Если мы опустимся в глубь веков, еще в первобытные формы хозяйства, и там мы увидим домашнее разделение труда и своеобразное возникновение профессионального начала. Античный строй, или хозяйство древней Греции и Рима, уже был знаком с разделением труда в самых широких размерах. Голландец Попма, писатель XVII века, сообщает, например, что в пределах одного ойкоса, то есть римского домохозяйства, исполнялось рабами до 150 разнообразных функций. Несравненно большего расцвета достигает разделение труда в первой исторической формации крупного предприятия — мануфактуре XVII века.

С величайшим энтузиазмом знаменитый шотландец Адам Смит описывает в своем «Богатстве народов» благотельные результаты разделения труда и повествует нам о чудесах техники своего времени. Но, конечно, он пришел бы в еще больший экстаз, если бы мог подглядеть тайны современного производства.

Измумительная специализация труда при капиталистическом способе производства делает из каждого рабочего виртуоза, она создает ту быстроту производства продукта и возможность его удешевления благодаря этому, которые так характерны для современного нам хозяйства. В этом смысле разделение труда есть величайшее завоевание человеческого гения. Без него немислим хозяйственный прогресс. Но рядом с этими колоссальными положительными заслугами разделение труда представляет одну из самых грозных и печальных страниц в истории рабочего клас-

са. Разделение труда в современной его форме превращает живую рабочую силу в мертвый автомат, бездушный механизм, в котором безвозвратно гибнут все интеллектуальные потребности и способности. «Для разделения труда в современном обществе, — писал Маркс в политическом сочинении против Прудона "Нищете философии", — характерно именно то, что оно порождает специальность, специалистов, а вместе с тем и свойственный специалисту-ремесленнику идиотизм.» «Машина, — гласит Эрфуртская программа, — лишает труд всякого духовного содержания. Он становится придатком к машине.»

И в русской литературе нередко слышались голоса, вносящие диссонанс в буржуазные дифирамбы. Мы можем указать на Чернышевского, позже — на Михайловского. Очевидно, что с этим великим злом необходима борьба, но какими средствами? Невозможно ведь согласиться с теми, которые желая облегчить положение рабочего, предлагали, чтобы он переходил в процессе производства от одной функции к другой. Такая организация труда знаменовала бы собой возвращение к мануфактуре доброго старого времени. Она перевернула бы вверх дном современный, стройно налаженный хозяйственный механизм. Отказ от завоеваний техники, результата тяжких и долгих усилий человека, был бы непростительным шагом назад. Все остальные способы суть паллиативы, не решающие радикально задачи и могущие лишь временно облегчить судьбы человека. К ним относится, например, борьба за фабричное законодательство, за сокращение рабочего дня, за фабрично-заводскую плату, просветительные учреждения. Все это, конечно, более верные средства, чем сентиментальные мечтания на средневековый лад. Но все они не устраняют самого принципа разделения труда, они мирятся с ним и таким образом признают необходимость внешней хозяйственной организации.

Но есть средство, могущее избавить человечество от внешних организаций и от всяких последствий разделения труда. Оно замечается в следующем: наблюдая эволюцию современной машины, мы видим, что по мере того, как машина становится сложнее, функции ее становятся проще. Из мастера-виртуоза, приготавливающего, если не целиком весь продукт, то известную его часть, рабочий все более и более превращается в наблюдателя за машиной; машина работает сама, рабочий же только управляет ею. И чем дальше идет технический прогресс, тем подобная тенденция обнаруживается все ярче и сильнее. Все экономисты, изучавшие и изучающие машинное хозяйство нашего времени, единогласно утверждают, что к современному рабочему производству предъявляет только одно требование: интеллигентности. Для того, чтобы следить за современной машиной, необходимо понимание ее конструкции и внимание к ней во время работы. В «Теоретической кинематике» Рело доказал, что «существует, так сказать, одна философия для всевозможных машин. Самая сложная машина может быть сведена к немногим элементам: пластинкам, цилиндрам, конусам и т.п., и также к немногим инструментам: пилам, стамескам, молоткам и пр. Несмотря на все разнообразие машин, оно может быть подчинено немногим видоизменениям движения, как, например, круговое движение может быть изменено в прямолинейное, при помощи некоторых эксцентриков». Точно так же и всякое ремесло распадается на составные части, которые легко изучить и тогда нетрудно овладеть целым рядом ремесел. Именно, основываясь на этих и подобных им соображениях, Кропоткин в своей превосходной книге «О земледелии,

фабрично-заводской и кустарной промышленности и ремеслах» горячо ратует за интегральное образование, то есть за соединение чисто научного образования с техническим. Но если современные машины требуют от работников, стоящих при них, прежде всего интеллигентности и образования, то эти качества давно уже не являются исключительной принадлежностью зажиточной буржуазии.

Наоборот, с каждым днем пролетариат дает все более и более драгоценные доказательства своей полной интеллектуальной и нравственной зрелости.

Пролетариат, создавший могучие политические партии, объединившийся в грандиозные профессиональные союзы, породивший неисчерпаемую по своему внутреннему и внешнему богатству литературу, может не только учиться у привилегированных классов, но может кой чему научить их и сам.

Следовательно, эволюции машины страшиться нам нечего; человек от нее никогда не отстанет. Но если это так, если на самом деле человеку необходимо только образование для того, чтобы постичь наибольшее количество механизмов — очевидно, человечеству предстоит новая революция, превосходящая своими размерами все то, что мы видели до сих пор.

Процесс дифференциации функций, разделение труда сменится другим колоссальным процессом, процессом интеграции, процессом обратного собирания функций. Человек будет в состоянии один собственными силами произвести целиком тот продукт, в котором он нуждается. Ему не нужны будут помощники; не нужны будут специалисты в отдельных отраслях хозяйства. Он станет самодовлеющей хозяйственной единицей.

Для человека откроется новая эпоха владычества над природой, над всем окружающим. Прежнее техническое бессилие отдельных личностей сменится ее полным техническим могуществом. Отныне необходимый человеку продукт не должен будет пробегать через тысячи человеческих рук, прежде чем он достигнет потребителя, того, кто в нем нуждается.

Таким образом мы стоим перед разрешением величайшей социальной задачи. Процесс интеграции есть процесс уничтожения всяких внешних организаций, всяких принудительных учреждений.

Конечно, против начертанного плана можно представить тысячи возражений; тысячи разнообразных вопросов, быть может, сейчас и неразрешимых, может возбудить подобная социальная схема. Но... во-первых, мы указываем только тенденцию, только направление, в котором должна сложиться социально-экономическая жизнь. Во-вторых, мы признаем, что разнообразные факторы могут вторгаться извне в эту тенденцию и так или иначе ее модифицировать. В-третьих, сама эволюция будет мучительной и сложной; наконец, царству абсолютной хозяйственной необходимости человека, а, следовательно, его полной эмансипации должен предшествовать социалистический строй. Как нельзя было перескочить либерализм и буржуазные формы хозяйства, даже если бы ясны были весь тот ужасающий гнет, та варварская, ледяная эксплуатация, которая готовилась миру вместе с буржуазной революцией, так неизбежен на наш взгляд и социалистический строй, с его долгими подготовительными стадиями, несмотря на весь ужас его торговых сделок с либералами и их правительствами и на ту инквизиционную моральную цензуру, которую нам готовят их будущее государство.

Анархисты в громадном большинстве случаев, как мы говорили раньше, совершенно отрицают необходимость прохождения социалистической стадии. Помимо расчетов на добрые инстинкты, заложенные в человеческой природе, и упований на какую-то естественную гармонию, долженствующую управлять отношениями людей, они горячо оспаривают основную посылку современного социализма — о концентрации капитала. С цифрами в руках они стараются опрокинуть основной постулат марксизма и доказать, что в современных хозяйственных условиях нет указаний на необходимость гибели мелкого хозяйства.

Разумеется, и холодная догма крайних марксистов, безжалостно осуждающая всякую мелкую промышленность на неизбежную гибель в ближайшем будущем, и современные романтики на средневековый лад, мечтающие о ремесле — золотом дне давно прошедших времен, заключают в себе изрядную дозу чисто полемического увлечения; но тем не менее если мы с надлежащим хладнокровием подойдем к тому колоссальному материалу, который имеется в настоящее время о крупном и мелком производстве; если мы сумеем объективно взглянуть на то, что делает человечество, а не (на) то, что оно должно делать, — мы должны будем признать, что закон концентрации капиталов, по крайней мере для фабрично-заводской промышленности остается непоколебленным. Я не буду утомлять вашего внимания бесчисленными цифровыми выкладками, которые имеются на этот счет в специальной литературе. У нас слишком много писалось и говорилось по этому поводу еще совсем в недавнее время, в эпоху нашего горячего увлечения марксизмом, да и многому из того, что писалось и говорилось тогда, суждено теперь опять возродиться, благодаря успехам социал-демократической партии. Наконец та необыкновенно поучительная полемика, которая в самом конце 90-х годов возникла между ортодоксальными марксистами и ревизионизмом, дала подавляющий по своему богатству материал, который позволяет сделать некоторые выводы, не прибегая к подробному его обзору.

Никто и никогда не сомневался в том и менее всего, конечно, сам Маркс, этот глубочайший знаток хозяйственной истории нового времени, что мелкая промышленность может существовать рядом с крупной. Менее всего закон Маркса о концентрации капиталов подразумевал какую-нибудь внезапную социальную катастрофу, которая должна разом поглотить все мелкие предприятия. Совершенно прав Кропоткин, когда он говорит, что «мелкая промышленность одарена необыкновенной живучестью, что она подвергается всевозможным видоизменениям, приспосабливается к новым условиям и продолжает бороться, не теряя надежды на лучшее будущее». Но этого никто и никогда не отрицал. Наоборот, все исследователи мелкой формы хозяйства всегда признавали необыкновенную ее эластичность и трудность, а в отдельных случаях и специфическую невозможность борьбы с нею. Есть отрасли производства, которые как бы специально предназначены для мелких форм производства. Но и сочувствие к героизму, нередко вынужденному, владельцев этих крошечных предприятий, вступающих в борьбу с гигантами, не должно было бы удерживать современных анархистов от признания верности общего закона Маркса.

В последнее время, однако, перед мелким хозяйством начинают как будто открываться новые неожиданные перспективы. Это стоит в связи с распространением мелких моторов и передачей электрической энергии. Одно время на них возлагали совершенно исключительные надежды; думали, что кончилась эра крупного произ-

водства, что новейшие технические изобретения разобьют крупные предприятия на мелкие мастерские. Но действительность далеко не оправдала этих радужных ожиданий. Правда, в отдельных местах Германии, особенно в Саксонии среди кустарей, довольно сильно распространены небольшие электрические и керосиновые двигатели. В Швейцарии, на Юрской возвышенности, «сначала маленькие мастерские арендовали двигатели, но в последнее время, благодаря обилию воды, было повсюду введено электричество, и в домах действуют небольшие моторы, величиной от 1/4 до 12 лошадиных сил». Наконец в последнее время такие моторы получили довольно широкое распространение и в Америке.

Несмотря, однако, на все величие этого изобретения, представляющего одну из необходимых предпосылок того будущего строя, который утвердит совершенную независимость личности, не следует переоценивать его значения для настоящего времени.

В энтузиазме, которым было встречено это изобретение, совершенно забыли о том, что машинная энергия становится тем дороже, чем в меньшем масштабе она применяется. «Техническое равенство двух предприятий, — справедливо замечает немецкий экономист Бюхер, — не есть еще их экономическое равенство».

В блестящей работе Зомбарта «Современный капитализм» мы находим целый ряд свежих иллюстраций этого, впрочем бесспорного положения.

Для паровой машины еще Энгель (?) отметил относительную обратную пропорциональность между величиной машины и расходами, падающими на одну лошадиную силу.

В новейшее время Эммери из Нью-Йорка дал следующие вычисления:

При машине в 5 лошадиных сил одна лошадиная сила обходится в год в 754.5 марок.

При машине в 20 лошадиных сил одна лошадиная сила обходится в год в 315.5 марок.

При машине в 200 лошадиных сил одна лошадиная сила обходится в год в 123.3 марки.

При машине в 3000 лошадиных сил одна лошадиная сила обходится в год в 78.1 марку.

Таким образом машина в 3000 лошадиных сил экономичнее машины в 5 лошадиных сил почти в десять раз. Очевидно, конкуренция невозможна.

Для развития небольшой силы, в которой нуждаются ремесленники, паровые машины теперь не употребляются. Для этих целей пользуются газо- и электромоторами. Здесь нет такой значительной разницы между мелкой и крупной машиной, как при употреблении паровых машин, но и здесь, конечно, сила обходится тем дешевле, чем крупнее ее генератор.

Так, по вычислениям Лукса, расход на одну лошадиную силу при электромоторе в 1 силу составлял 216 марок, при электромоторе в 500 лошадиных сил — только 93 марки.

Этих немногих данных, нам кажется, совершенно достаточно, чтобы разубедить те наивные души, которые думали и думают с помощью одних электромоторов перевернуть весь мир.

Правда, в основе всякого социального переворота прежде всего лежит технический прогресс, но для того, чтобы овладеть им и использовать в своих целях, необходимо сосчитать и собрать свои силы.

Время анархистической революции еще не пришло, между тем многочисленные признаки указывают нам на приближение социалистического строя.

Образование бесчисленных рабочих армий, постепенное завоевание пролетариатом парламентов, муниципалитетов, громадные боевые фонды на случай стачек и безработицы, — все это грозные симптомы, с которыми надо считаться.

И всякий последовательный анархист должен не бороться против надвигающегося социалистического строя, а, наоборот, жаждать его приближения, ускорить его наступление, чтобы затем биться с ним в последней борьбе.

Надо ждать концентрации этой громадной власти, чтобы затем одним ударом поразить ее в самом источнике. Надо собрать эти миллионы ручьев в один поток, чтобы разбить его одним взмахом.

Современные анархисты говорят о каком-то безумном надорганическом скачке в царство свободы, между тем, нам необходим социалистический строй, 1) как стадия технико-экономической подготовки, 2) как стадия подготовки психологической.

Социалистический строй есть, конечно, самая совершенная форма экономической жизни. Мы уже говорили, что если анархизму суждено решать проблемы духа, социализм призван решать проблемы тела.

Колоссальные потери капиталистического строя, проистекающие из его неорганизованности и неизбежно связанных с нею промышленных кризисов, исчезнут. Социализм создает мощную хозяйственную организацию, где все члены будут равно участвовать в работе и закалятся в той трудовой дисциплине, которая будет так необходима в анархистическом строе, где они будут предоставлены самим себе.

Все технические усовершенствования, все новейшие приобретения культуры, которые сейчас делаются достоянием лишь немногих, создавая монополии и разоряя бедняков, тогда будут распределяться равномерно по всему общественному слою, знакомя практически каждого члена социалистического государства с успехами науки и искусства. И человек социалистического строя будет во всеоружии современного ему знания. Массы людей будут трудиться над приложением в жизни тех великих изобретений, которые в силу их баснословной дороговизны, сейчас недоступны, а в ближайшем будущем, может быть, будут доступны очень немногим. Между тем некоторые из них, как, например, возможность пользоваться радиом, повлекут за собой целые общественные трансформации, делая ненужным целые отрасли хозяйства (отопление, освещение), а, следовательно, и упраздняя целые профессии людей.

Еще более баснословные перспективы открыл французский ученый Бертело на банкете синдиката химических фабрикантов в 1894 году. «К 2000 году, — говорил он, — не будет более ни сельского хозяйства, ни крестьян, потому что химия сделает ненужной нынешнюю обработку земли...

Топливо заменится химическими и физическими процессами... Нужно будет подумать о том, как использовать солнечную теплоту и жар земных недр»...

Одним словом, социалистический строй воспитает экономически универсального человека.

Но не менее важна социалистическая стадия и для психологической подготовки человека.

Никакие завоевания не бывают прочны, если они достаются легко, без жертв и страданий.

В буржуазном обществе культура личности в массе невелика. Там, где миллионы людей долгие дни проводят в душных и жарких мастерских или годами гложут осиновую кору, там некогда думать о голоде духа. Но там, где, как в социалистическом строе, алчущие будут насыщены, родятся потребности духа, которые социализм наполнить не может...

Тогда на почве неслыханных страданий сперва порабощенного, потом возмущенного гордого духа восстанет царство истинной свободы — анархизм.

Все настоящие попытки на индивидуалистическое самоопределение заранее осуждены на бесплодие; они — заблуждение. Это гордый дух в брэнном теле.

Не такова должна быть личность в анархистическом строе; с необъятной властью над природой разовьется ее психическая чуткость, вырастет то понимание вне времени и пространства, то новое чувство, о котором говорит теперь целый ряд ученых, работающих над физиологической психологией.

Тогда не будет места каким-либо влияниям извне; все будет определяться личными внутренними императивами.

Лишь тогда личность станет тем богом, тем «Я», о котором когда-то смутно мечтал одинокий, непонятый Штирнер.

Тогда раздастся тот гимн, который пел некогда Цезарь де Пап: «Анархия! Мечта возлюбивших свободу, идеал истинного революционера! Долго люди на тебя клеветали, недостойно поносили тебя; в своем ослеплении смешивали они тебя с беспорядком и хаосом, между тем, как правительство, твой заклятый враг, есть социальный беспорядок, экономический хаос!.. Ты — порядок, гармония, равновесие, справедливость! Тебя уже провидели пророки, под покрывалом, скрывающим будущее; они называли тебя идеалом демократии, надеждой свободы, высшей целью революции, владычицей будущих времен, обетованной землей возрожденного человечества!»

Я кончаю... Быть может, у многих явится мысль, что служение идеалу, который я нарисовал и осуществление которого отодвинуто от нас, по-видимому, еще на сотни лет, обрекает на квиетизм, на спокойное холодное созерцание!

Ничто не может быть ошибочнее этой мысли! Нет! Тот, кто исповедует подобное миросозерцание, обречен на борьбу. Перед ним открывается бесконечное поприще!

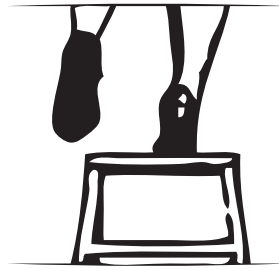
Пусть голос его неумолчно звучит о негодности политических форм, о безнравственности принципа власти. Бесконечно более прав тот, кто ведет людей на страдания, смерть, чем тот, кто теряет свои идеалы во имя их неисполнимости.

Нет более страшной реакционной силы, чем трезвые реформаторы, потревоженные в своей творческой работе. Трудясь над жизненными практическими задачами, они забывают о высоких идеалах — конечных моментах их творческого процесса; они жестоко мстят тем, кто неудержимым порывом мешает их «маленькому делу».

Нравственный долг обязует исповедать свою веру всегда, не считаясь с земными богами.

Пусть каждый из нас неудержимо несет в свет тот огонь, которым пламенеет душа!

Библиотека Анархизма
Антикопирайт



Алексей Алексеевич Боровой
Общественные идеалы современного человечества. Либерализм. Социализм.
Анархизм
1906

Скопировано 14.11.2014 с <http://coollib.net/b/126583/read>

ru.theanarchistlibrary.org